

Письмена
времени

Карта моей
памяти
Путешествия
во времени
и пространстве

Владимир
КОШЕТОР



Письмена времени

Владимир Кантор

**Карта моей памяти.
Путешествия во времени и
пространстве. Книга эссе**

«ЦГИ Принт»

2016

УДК 130.2
ББК 83.3

Кантор В. К.

Карта моей памяти. Путешествия во времени и пространстве.
Книга эссе / В. К. Кантор — «ЦГИ Принт», 2016 — (Письмена
времени)

ISBN 978-5-98712-599-1

Предлагаемая работа является продолжением книги «Посреди времен, или Карта моей памяти», вышедшей в 2015 году при поддержке Министерства культуры РФ и Союза российских писателей. «Посреди времен» была замечена критикой. Новая книга также является рядом очерков и эссе, связанных единой идеей и единым взглядом автора на мир, судьбой автора, его интеллектуальными путешествиями в разные части России и разные страны (от Аргентины до Германии). Поэтому название ее отчасти перекликается с предыдущей. Большая часть текстов публиковалась в интернет-журнале Гефтер. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 130.2
ББК 83.3

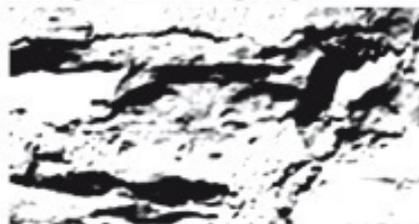
ISBN 978-5-98712-599-1

© Кантор В. К., 2016
© ЦГИ Принт, 2016

Содержание

Эстонские интервью	7
1. Владимир Кантор, русский европеец	7
2. Владимир Кантор – философ, сокрушивший варварство	11
Путешествия во времени	16
3. Необходимость «планки», или Преодоление современности	16
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Владимир Кантор
Карта моей памяти. Путешествия во
времени и пространстве. Книга эссе
Время – движущееся подобие
ВЕЧНОСТИ



Платон



Книга издана при поддержке Министерства культуры РФ и Союза российских писателей (2016)

Серия основана в 2004 г.

В подготовке серии принимали участие ведущие специалисты ИНИОН РАН

Главный редактор и автор проекта «Письмена времени» С. Я. Левит

Составители серии: С.Я. Левит, И.А. Осиновская

Редакционная коллегия серии:

Л.В. Скворцов (председатель), Е.Н. Балашова, П.П. Гайденко, И.Л. Галинская, В.Д. Губин, Б.Л. Губман, П.С. Гуревич, А.Л. Доброхотов, Д.В. Ефременко, Г.И. Зверева, В.К. Кантор, И.В. Кондаков, М.П. Крыжановская, Л.А. Микешина, Ю.С. Пивоваров, А.К. Сорокин, П.В. Соснов

Редактор М.П. Крыжановская

Серийное оформление: П.П. Ефремов

Как известно, время и пространство перетекают друг в друга, но в памяти человека это переплетение наиболее интересно. Попытка разделить мои путешествия на путешествия во времени и пространстве, возможно, не самая удачная, поскольку все они есть творение моей

памяти, моей способности понимать мир. Но как-то их надо было структурировать, я и попытался это сделать.

И еще два слова: всю свою жизнь я считал себя домоседом, чувство дома было очень сильно, об этом и первая моя повесть «Два дома» (1975), но вдруг с удивлением увидел, что поездил я тоже немало. А в юности думал, что единственным моим путешествием будет уход в ту или иную книгу. Но и книжные путешествия всегда были открытием новых миров, которых до меня не замечали.

Дорожные жалобы
Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?
Не в наследственной берлоге,
Не среди отческих могил,
На большой мне, знать, дороге
Умереть господь судил,
На камнях под копытом,
На горе под колесом,
Иль во рву, водой размытом,
Под разобранным мостом.
Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит,
Иль мне в лоб шлагбаум влепит
Непроворный инвалид.
Иль в лесу под нож злодею
Попадуся в стороне,
Иль со скуки околею
Где-нибудь в карантине.
Долго ль мне в тоске голодной
Пост невольный соблюдать
И телятиной холодной
Трюфли Яра поминать?
То ли дело быть на месте,
По Мясницкой разъезжать,
О деревне, о невесте
На досуге помышлять!
То ли дело рюмка рома,
Ночью сон, поутру чай;
То ли дело, братцы, дома!..
Ну, пошел же, погоняй!..

А.С. Пушкин

Эстонские интервью

1. Владимир Кантор, русский европеец Борис Тух

Газета «Столица» (Таллин, 15.06.2009)



Доктор философских наук, профессор Высшей школы экономики, писатель и литературовед Владимир КАНТОР, по оценке французского журнала «Le Nouvel Observateur», входит в список двадцати пяти крупнейших мыслителей современного мира. В Таллин он приезжал неоднократно, в этот раз его привели сюда сразу два события.

Первое – «Лотмановские дни» в Таллинском университете, в рамках которых состоялись международная конференция «Пограничные феномены культуры» и презентация сборника

Института философии РАН «Юрий Михайлович Лотман», редактором которого является В. Кантор.

И второе – презентация романа самого Владимира Карловича «Крокодил» (1986, первая публикация в журнале «Нева», 1990, № 4) в эстонском переводе. Ряд книг Кантора посвящен осмыслению пути России как европейской державы и такому феномену, как русский европеец.

– Владимир Карлович, чем объясняются ваши тесные связи с Эстонией и как они возникли?

– В Москве на одном круглом столе мне уже задавали вопрос: «Почему у вас такие тесные связи с Эстонией?» Я ответил: «Потому что у меня здесь много друзей. Первым был Эдуард Тинн, который 40 лет назад меня впервые сюда привез. И для меня это была первая Европа. Которая тогда казалась настоящей. Другой Европы я не знал: ведь я был невыездным. Для меня Эстония была знаком того, что Европа для нас возможна. Конечно, существовали где-то там, в недоступности, английские лужайки, парижский шарм, немецкий порядок, но ощутить это нам было не дано. Вдруг это все выдумка?»

– Выдумка?

– Один видный советский шекспировед никогда не был в Англии. Его не выпускали. И тут случилась перестройка, и ему разрешили поехать. Он наотрез отказался: «Никуда я не поеду, никакой Англии нет, ее большевики выдумали, чтобы нам не так скучно жить было!» – «А Шекспир?» – «И Шекспира выдумали! Вы просто не представляете себе, на что большевики способны!»

– Признайтесь, что эта история – придуманный вами гротеск!

– Конечно.

– Он перекликается с новеллой Веллера «Хочу в Париж». Герой ее с детства мечтал о Париже и уже пожилым человеком смог, наконец, поехать туда по профсоюзной путевке. И с ужасом обнаружил, что тот Париж, который ему показывают, – декорация, муляж для советских туристов...

– Понятно. Это ощущение нереальности происходящего едва ли не каждый из нас испытывал, впервые попав за границу. Когда я впервые оказался в настоящей Европе, в Германии, в Кёльне, я поехал к Кёльнскому собору, глянул на него и задумался: он в самом деле существует, или все мне только метится. Я так много о нем читал, слышал... Проходят негр, китаец – им это великолепия в сущности до лампочки. А для меня оно так много значит! Я решил: если это и вправду не фантазия, то я зайду туда не сейчас, а через два дня!

– Но вы-то в существовании Европы не сомневались?

– Когда я увидел Эстонию, я понял, что Европа – не выдумка. А как вы помните, в те годы в Эстонии все умели говорить по-русски. И можно было ощущать себя дома – и в то же время в Европе. Это было совершенно удивительное состояние.

– А сегодня?

– Сегодня... в Москве мне говорят: «Понятно, почему эстонцы тебя перевели! Потому что они будут читать твоего „Крокодила“ и восхищенно ужасаться: „Вот видите, какова Россия! Автор из России? Значит, правду написал!“ Так что ты предстаешь клеветником России. А задача у нас такая: избегать фальсификации! Значит, ты работаешь на врага».

А узнав, что меня и поляки перевели, те же люди добавляют: «А поляки тем более Россию ненавидят!» В советское время я много писал об эстонских прозаиках: Яане Кроссе, Мати Унте. С Мати Унтом мы славно болтали. С Леннартом Мери как-то ехали в одном купе, потом общались, он был невероятно умен и очень много знал, подарил мне свои книги, а потом перед моим возвращением в Москву мы в его доме пили всю ночь, так что на следующее утро в аэропорту, в накопителе, мне казалось, что я вот-вот умру...

А однажды Эстония меня спасла. Я работал тогда над романом «Крепость», написал первые десять глав – и тут пошли сумасшедшие обыски у моих друзей. Возле моего дома дежу-

рила машина, меня несколько раз останавливали на улице, проверяли документы и задавали вопрос: «А почему вы не едете в свою Америку?» Я отвечал: «У меня своя Россия есть!» «Вам было бы там лучше, – советовали они мне, – за вами не ходили бы по пятам». В «Крепости» один из персонажей называет членов Политбюро на трибуне мавзолея «15 человек на сундук мертвеца». Уже за одно это в начале 1980-х можно было сесть! И я попросил моего друга Эдуарда Тинна увести эти десять глав в Эстонию. А в 1986 году забрал их и начал дописывать роман. Точнее, переписывать – с самого начала. В 91-м, во время путча ГКЧП, друзья звали меня к Белому дому, а я как раз дописывал последнюю главу. Они говорили: «Ладно, дописывай, а потом подумаем, куда ее прятать». Тогда казалось, что ГКЧП и в самом деле может одержать верх. Потом, правда, я намучился с романом уже по другому поводу: редакция журнала «Октябрь» потребовала сократить рукопись вдвое, так как длинные романы уже никто не читает. В полном виде «Крепость» вышла только отдельной книгой.

– Главного героя «Крепости», школьника Петю, вы наделили собственной биографией?

– Я там многое взял из своей биографии.

– В том числе бабушку – основательницу Компартии Аргентины?

– Да, мои бабушка и дедушка некогда вынуждены были эмигрировать в Аргентину, спасаясь от царской охранки. И там они организовали КП Аргентины. А в 1926 году вернулись в СССР, где через 11 лет дедушку посадили «за троцкизм». Правда, вскоре выпустили... Дедушка умер, когда я был совсем маленьким, а вот бабушку помню хорошо.

– Почему они уехали, понятно. А почему вернулись в СССР?

– Они верили в СССР, в большевистский строй. К тому же у бабушки возник конфликт с лидером аргентинских коммунистов Кодовильей, который даже исключил ее из партии. Кодовилья, кстати, был вначале просто уголовник, его мои бабушка и дедушка в тюрьме распропагандировали. Им казалось тогда, что разбойники – реальный резерв революционной партии.

– Все-таки какая из ваших ипостасей главная? Писатель или мыслитель?

– Одно без другого просто невозможно.

– Да. Хотя многие нынешние писатели успешно опровергают этот постулат.

– Значит, они не очень хорошие писатели. В России всегда большой писатель был еще и философом. Даже если он не писал философские трактаты.

Достоевский до сих пор воспринимается Западом как крупнейший российский философ. В Германии как-то я общался с их профессурой, и они меня просили назвать крупнейших русских философов. Я называю: Чаадаев, Соловьёв. Они их не знают. Я говорю: Достоевский. «О, Достоевский – это да!»

– Одна из ваших первых книг была о «Братьях Карамазовых»...

– Совершенно верно. Это был 83-й год. Вообще есть два вопроса, на которые у меня заранее готовы ответы. «Когда вы пишете?» – «Я пишу все время. Даже когда не сижу за письменным столом». «И какая следующая ваша книга?» – «У меня в работе одновременно несколько книг, и я не знаю, которую закончу первой».

– Вы даете кому-нибудь читать рукописи до того, как они становятся книгами?

– У меня есть несколько друзей, на чье мнение я полагаюсь. Знаете, у Чаплина был один знакомый, старый еврей, которому Чаплин платил большие деньги за то, что тот первым смотрел каждую новую картину и показывал пальцем – вот тут не смешно, надо переделать. Это дорогого стоило. Я доверяю мнению жены, Марины, и питерского литературоведа Сани (Самуила) Лурье. И если обоим что-то не понравится, значит, я переделываю этот кусок.

– Русский европеец, по-вашему, это человек, который любит Европу, стремится в Европу, но в глубине души опасается, что она – иллюзия?

– Нет. Русский европеец относится к Европе без иллюзий. Понимая, что сама Европа – недостаточно европейская. Она неадекватна тем идеалам, которые были заложены триадой:

античная философия – римское право – христианство. Эта триада не раз давала сбои; XX век вообще – сплошной сбой: Италия, Германия, Россия, которая до Первой мировой войны была, безусловно, частью Европы.

– А как же тогда изоляционистская политика Александра III и Николая II?

– Так эти два последних царя и рубили под корень русскую Европу. И Российскую империю, которую погубил именно русский национализм! Если бы Россия не ввязалась в Первую мировую войну, все шло бы совершенно иначе. Россия уже поднималась как Новая Америка, по словам Александра Блока. Дума впервые заработала реально.

– Причем ведь в 1914 году у России не было реальных оснований воевать с Германией?

– Не было. Но Николай позволил уговорить себя. Помните, в советское время ходил анекдот, что Николая II надо наградить орденом Октябрьской Революции за создание революционной ситуации в России? У России с Германией были прекрасные отношения! Можно сказать, Германия создавала Россию. Немецкое влияние было сильно еще со времен Петра, Екатерины... Вся русская философия создавалась под влиянием немецкой.

– И до 1914 года они воевали между собой только в Семилетнюю войну, в которую, строго говоря, России тоже не было резона вмешиваться?

– И которая закончилась вполне благополучно. Во-первых, оказалось, что русские полководцы умеют воевать не хуже Фридриха Великого, а Кант некоторое время как житель Кёнигсберга был российским подданным, и мы вправе считать его великим русским философом. А во-вторых, государства ко взаимному удовольствию помирились... как бы ни поносили за это впоследствии Петра III.

А вот Николай II совершил роковую ошибку. Да он всю жизнь их совершал! Его сейчас пытаются обелить, мол, человек, в сущности, был неплохой и про 9 января не догадывался. А как же не догадывался, если в его дневнике я собственными глазами прочел, что накануне генерал-губернатор Петербурга предупреждал его о готовящемся шествии и о том, что будут приняты меры, характерные для военного положения, и царь ответил: «Поступайте, как знаете!» И потом записывал: «Как грустно, столько погибших!» Он знал, что будут расстреливать людей, которые выйдут с его портретами, хоругвями!

– Вы считаете, что для России естественное состояние – многонациональная и многоконфессиональная империя, а не национальное государство с православием в качестве едва ли не официальной религии?

– Имперское мышление и национализм исключают друг друга. Вот про немцев один мудрый человек сказал, что немцы не смогут стать империей – слишком националистичны. Так оно и случилось.

2. Владимир Кантор – философ, сокрушивший варварство Олеся Лагашина

(«День за днем», Таллин)



Французский журнал «Nouvel Observateur» назвал его в числе 25 самых значительных философов современности. Другие наградили его титулом величайшего из ныне живущих русских философов. Сам он о своих достижениях рассказывает с юмором, оживляясь, когда речь заходит о его художественной прозе.

Олеся Лагашина

Даже премию Генриха Бёлля, по его словам, он получил случайно – в том смысле, что неожиданно. В Таллин профессор, доктор наук, член редколлегии журнала «Вопросы философии» Владимир Кантор приехал со скромной целью поработать в лотмановском архиве и вдали от московской суеты приняться за новый роман.

«Пробираясь, как в туман, от пролога к эпилогу»

Впрочем, с архивом вышла незадача: к своему великому сожалению, таллиннский гость обнаружил, что архив до сих пор находится в неразобранном состоянии и работать с ним нельзя. Так что планы собрать дополнительные материалы для подготовленной им книги о Лотмане, которая должна войти в серию книг Академии наук о наиболее крупных мыслителях советской эпохи, так и остались планами.

Но ему и без того есть чем заняться: лекции в Таллинском университете по философии литературы, встречи, презентация книги «Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса», выступление в Русском театре и собственно – роман. Что за роман? «Я ни об одном никогда не рассказывал до написания. У меня их несколько, некоторые из них еревдены. Я рассчитываю работать над ним несколько лет. Нет, с Таллином он никак не связан. Не буду говорить, а то проболтаюсь».

Говоря о своей последней книге, посвященной русскому имперскому сознанию, он утверждает, что выступает не как критик или апологет империи. Он – диагност.

«Империя в массовом сознании воспринимается не так, как специалистом. В массовом сознании империя – это носительница зла. Я не даю оценок, а только определяю, при каком диагнозе государство может прожить дольше».

Философ – человек явно увлекающийся, последующие четверть часа он с удовольствием рассказывает о зарождении Европы как империи, о разнице между империей и деспотией и об истории Древней Греции, попутно украшая повествование анекдотами про Александра Македонского. Евросоюз? Да, и Евросоюз – империя. Как это сочетается с демократией? Да очень просто: Великобритания считается образцом демократии, она же одновременно одна из крупнейших империй мира. Просто люди, которые противопоставляют империю демократии, путают ее с деспотией.

Анекдот от Владимира Кантора:

Когда Александр Македонский обратился к дельфийскому оракулу с вопросом, сумеет ли он победить, идя на Восток, пифия сказала ему: «Сегодня не время для пророчеств». Тогда он сгреб ее в охапку и потребовал ответа. «Ну, с тобой, Александр, не справиться», – отвечала пифия. «Это я и хотел услышать», – сказал Александр.

Вопросы партийной философии

Спустя некоторое время он с той же непринужденностью рассказывает о себе:

– Я полукровка, поэтому у меня были проблемы с поступлением в университет, потом с поступлением в аспирантуру ИМЛИ. Тем не менее в аспирантуру я попал, хотя и в другой институт, окончил, и там ко мне стали приставать с партией. На дворе, между прочим, 1973 год. В партию я вступать категорически не хотел, хотя мне надо было всего-навсего перенести документы из одного кабинета в другой. А я все время «забывал», хотя поручители у меня были. Ну, меня и спрашивают – как там с партией-то? Я говорю, что все никак не могу принести документы. «Вы что, год их переносите?» – «Да все как-то недосуг». – «Ну, и нам недосуг оставить вас на работе». Пошел я не солоно хлебавши по Москве в поисках работы. А был тогда такой замечательный философ – Мераб Мамардашвили. Я ходил на его лекции, поскольку делать мне было все равно нечего, задавал вопросы и удостоился большой чести: он стал приглашать меня на кофе после лекций.

Как-то, сидя за кофе, он спросил: «А где вы, Володя, сейчас работаете?» Я ответил: «Честно говоря, нигде». – «А почему бы вам не поработать в «Вопросах философии?» У меня было очень смутное представление о том, что это такое. Но я отдал главному редактору Ивану Тимофеевичу Фролову на отзыв какие-то свои опубликованные тексты. Он меня вызывает и говорит: «Мне нравится, как вы пишете. Я вас беру. У меня один вопрос: вы член партии?» У меня оторопь, я же ему не скажу, что меня только что отовсюду выгнали, потому что я не член партии. Смотрю на Мераба, а он сидит в больших очках, мудрый, как черепаха Тортила, и мудро на меня смотрит. И тут я вспоминаю: мне еще осталось два месяца до выхода из ВЛКСМ. Я давно не платил никаких взносов и забыл, что там состою, но тут я сказал: «Я член ВЛКСМ!» И был зачислен на эту работу.

Спустя несколько месяцев Фролов сообщил, что на журнал пришла разнарядка, и он хочет рекомендовать меня в партию. Я ему говорю: «В какую партию?» Он так растерялся: «То есть как – в какую?» – «Вы знаете, я предпочел бы кадетов». – «Больше тебе вопросов не задаю», – сказал он. Так я себе и жил.

«Своей судьбы родила крокодила ты здесь сама»

Бак в запасе у Кантора много: про то, как его чуть было не приняли-таки в партию на самом Политбюро, как он в очередной раз отказался в любимую партию вступить, заодно отказавшись от квартиры, дачи и личного автомобиля (оно и не удивительно, принципиальность в крови: его отец – тоже философ – в период борьбы с «космополитами» принципиально сменил русскую фамилию матери на еврейскую фамилию отца). С удовольствием он вспоминает про то, как, благодаря доброму гению Фролову, его повесть «Кёльн – Москва» была опубликована в философском журнале (самое место для художественных произведений), как бодался теленок с влиятельными литературными журналами...

– Свою первую повесть «Два дома» я носил всюду. Сначала я, как всякий интеллигентный человек, понес ее в «Новый мир». Там прочитали, им понравилось, но они попросили к ней предисловие от какого-нибудь влиятельного автора. А у меня никого не было знакомых в литературном мире. Я шапочно знал драматурга Розова и показал ему. Через три дня он позвонил мне сам: «Это надо публиковать». Но когда текст дошел до главного редактора, тот сказал: «Нет, тут Розова недостаточно, не будем мы это печатать, здесь клевета на старых большевиков». Потом я пошел к Сергею Баруздину в «Дружбу народов». Он прочитал, вызвал меня и начал бегать по кабинету: «Вы человек талантливый, я это вижу, но вы – мрачный писатель, вы – Достоевский, а Достоевские нам не нужны!»

А потом я написал роман «Крокодил», наиболее известный среди моих вещей. В «Дружбе народов» его даже смотреть не стали, пришел в «Октябрь», а мне какой-то молодой человек говорит: «И где вы видели в Советском Союзе таких людей?» Я говорю: «На каждом шагу». – «У вас какие-то странные шаги, вы не там ходите». Я ушел. И мне посоветовали напечатать его в Питере. «Крокодила» потом действительно опубликовали в «Неве».

Кремль не взорвал, но теще угодил

Этот же «Крокодил» принес ему в пасти премию Генриха Бёлля, благодаря которой писатель получил возможность шесть месяцев прожить в бёллевском доме. Правда, переводить на немецкий Кантора не особенно хотели.

– Слависты, которые меня пригнали в Германии, попытались пристроить один мой немецкий перевод. Наконец, сам влиятельный Лев Зиновьевич Копелев, друг Бёлля и известный диссидент, которого я знал еще по диссидентским делам, позвонил издателям. Ему сказали: «Да мы вам верим, что он хороший писатель, но что он сделал такого, что привлечет читателя, он пытался Кремль, например, взорвать? Нет? А как мы его продавать будем, мы уже столько русских напереводили – все лежит». И все же «Крокодил» был переведен на поль-

ский, сербский, сейчас уже готов итальянский перевод, а поляки даже поставили спектакль по роману.

Попутно Кантор защитил докторскую, а премия Бёлля дала ему возможность, наконец, получить квартиру – не «партийную».

– Теща когда-то моей жене говорила: «Ну кто он такой, пишет – никто не печатает. Ученый – какой-то кандидат, которого никто не знает». В итоге ученый стал доктором, а писатель получил премию. Мой приятель сказал: «Слушай, это теща тебя допекла, без нее ты бы ни премии, ни докторской не получил».

Что? Ах, 25 светил мировой философии и «Nouvel Observateur»... это такой «смешной штрих» в его биографии.

– Я тогда получил стипендию Фулбрайта, чтобы работать в нью-йоркских архивах. Американцы считают эту стипендию почти нобелевкой. Мне все говорили – такая удача. Приехал я туда, и тут меня действительно посетила удача: я ночью попал в Гарлем, а меня не зарезали. Двое бандитов проводили меня до метро, помогли доехать до дому. А потом вдруг приходит письмо из Парижа, где просят дать интервью для парижского журнала. Я ответил на вопросы и благополучно о них забыл. И тут вновь приходит письмо от редактора: срочно ваши координаты, к вам едет фотограф из Парижа. Оттуда в Нью-Йорк приезжает фотограф, который сообщает, что готовится какой-то особый номер. Проходит время. Номер вышел, а я его не могу найти. Звоню интервьюеру, а она мне говорит: «Вот передо мной номер, где вы идете по причалу Лонг-Айленда. А вообще-то это номер, посвященный 25 крупнейшим мыслителям современности».

Звоню жене: «Вот как врут на Западе. В России в таких случаях обычно говорят, что главный редактор – сволочь, интервью не пошло, фотографии оказались неудачными, а тут – врать, так по-крупному. 25 мыслителей, и вы среди них». И тут мне присылают журнал. Потом я приезжаю в Москву, показываю номер, и тут начинается: «У нас в журнале печатаются академики, а кто его назначил? Мы его не выдвигали!» Академики мне до сих пор этого простить не могут, один мне честно сказал: «Не вздумайте когда-нибудь подавать даже в членкоры, и не рассчитывайте».

Без клики легче

Составители списка «величайших» охарактеризовали Кантора как философа-универсалиста, который не умещается ни в рамки мыслителя, ни в рамки писателя, ни в рамки специалиста-интеллектуала. А поскольку одна из интересующих его тем – варварство и цивилизация, они окрестили его «сокрушителем варварства».

– Для французов, очевидно, важно еще и то, что я писатель. Это свойство французской философии, начиная от Вольтера и кончая Камю и Сартром. Но мне трудно сказать, какая муха укусила это жюри. Других претендентов они мне не назвали. Я бы назвал Мераба, если бы он был жив, но он к тому моменту умер. А других бы я тоже не назвал.

Его считают продолжателем философской традиции Достоевского, Соловьёва и Бердяева, и он не склонен с этим спорить:

– С Соловьёвым они угадали точно. И еще я очень люблю Чернышевского. Не случайно Соловьёв писал о нем как о великом русском мыслителе. Правда, Чернышевского в России не поняли, он ведь и в прокламации своей писал как раз о том, что не надо брать на вооружение ту идею, которой потом воспользовались большевики. И еще Чехова очень люблю. Если же говорить о художественных влияниях, я пережил влияние Толстого и Достоевского. В детстве на меня произвел сильное впечатление Толстой – даже не «Войной и миром», а автобиографической трилогией. Наверное, это как-то сказывается на моих текстах. Главный же толчок к прозе мне дал «Подросток». Впрочем, этих импульсов всегда много. Писать прозу я начал в пятнадцать лет, но все это казалось чем-то не тем. Потом просто не печатали. Я до сорока лет

не издал ни строчки. А к той прозе, что самому кажется удачной, пришел так: после защиты кандидатской в тридцать лет у меня было ощущение, что жизнь идет впустую, и далась мне эта кандидатская, и тут приехал мой таллиннский друг Эдуард Тинн и будто вдохнул в меня витальность, я понял: надо возвращаться к прозе....

Он может увлеченно и серьезно рассказывать про особенности русского европеизма или долго и смешно делиться семейными преданиями про бабушку, Иду Исаковну Бондареву, ставшую основательницей аргентинской компартии и получившей в Испании орден Боевого Красного Знамени за по-хозяйски спасенные от франкистов военные карты, в спешке брошенные республиканскими штабистами. А когда все интересное уже вроде бы сказано – остановить на пороге, небрежно бросив что-то про сестру отца – аргентинскую писательницу Лилию Герреро, переводившую на испанский Маяковского. И признаться: «Мой любимый Стендаль говорил: чтобы тебя любили, надо быть в клике. Вот в клике я никогда не был. И мне от этого как-то легче».

Справка еженедельника «День за днем»

Владимир Карлович Кантор – культурфилософ, писатель, профессор Государственного университета – Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ) в Москве. Родился в 1945 году. Окончил филологический факультет МГУ и аспирантуру Института истории искусств (1973). Доктор философских наук, с 1974 года работает в журнале «Вопросы философии». В 1992 году получил премию фонда Генриха Бёлля. В 2005 году по версии журнала «Nouvel Observateur» вошел в число 25 крупнейших мыслителей современности.

Фото:

Олеся Лагашина

Путешествия во времени

3. Необходимость «планки», или Преодоление современности (Слово об отце)

Писать о жизни отца сыну трудно. Человек нечто делает, это понимают и оценивают современники (редко), чаще потомки. Сын может рассказать то, что не видели и не знали другие. Такова моя задача: рассказать, как я его видел всю свою жизнь, каким он мне представлялся. Разумеется, говоря о философе, важно, даже необходимо определить его интеллектуальные интересы, по возможности показать, как они выростали из его поведения, отношения к людям, к трудностям и удачам, – из судьбы человека, которая и определяет философское высказывание.

Прошу у читателя прощения, но начну с *детского*. Каждое утро, лет с трех и до школы, отец водил меня в детский сад (у мамы работа начиналась очень рано, когда садики все были закрыты). Дорога шла через парк и занимала минут пятнадцать. И вот всю эту дорогу отец читал мне стихи. Постоянно звучали Пушкин и Маяковский. Он помнил их поэмами, «Онегина» знал наизусть всего. Мне эти поэты казались почти друзьями. И только в школе я узнал, что они жили в разные века. Но отец думал и дышал поэзией, сам писал стихи, считал долго себя поэтом, пока не стал философом, ощутив в себе другое призвание. Хотя музыка небесных сфер, на мой взгляд, и в поэзии, и в философии звучит похоже. Но недаром все же его последняя книга была о Маяковском («Тринадцатый апостол»), поэте, со стихами которого он жил, начиная с 14 лет, строками которого часто думал. Пушкин тоже был не случаен. Известно из семейного предания, что, начиная с тридцатых годов, мой дед совершенно не мог читать современной литературы, купил шеститомник Пушкина, только его и читал. Когда в середине шестидесятых В.И. Толстых предложил отцу написать статью в сборник о моде, он это сделал, назвав ее «Мода как стиль жизни», неожиданно дав анализ проблемы на тексте пушкинского «Онегина». Как недавно написал Толстых: «Статья Карла Кантора, на мой взгляд, мудрая и здравая, стала украшением книги <...> „Мода: за и против“»¹.

¹ Сейчас так не пишут: Сборник статей / Под ред. В.И. Толстых. М.: РОССПЭН, 2010. С. 150.



Маленький аргентинский Ока (Оскар)



Ида Бондарева (мать отца), Карл Кантор и Лиля Герреро (сестра отца)

Необычность отца для меня, для соседей, для друзей определялась не только стихами и философией (бытом он жить не умел, хотя и разбирался в моде и более 15 лет вел журнал «Декоративное искусство СССР»), но и тем, что он был, в сущности, выходцем из другого мира. Красивый, черноволосый, он родился в Аргентине, в Буэнос-Айресе, полное его имя было Карлос Оскар Сальвадор. В Аргентине его чаще называли Оскар, Ока.

И в Советскую Россию был привезен в возрасте четырех лет. Несколько месяцев на пароходе, кругом вода, пространство сужено и огорожено бортами. Рядом все же была твердая характером мама и нежная сестра Лиля, тогда еще Лиза. Атлантический океан был очень большой, но по нему они доплыли до Европы, а потом до Одессы.

Позже его единоутробная сестра Елизавета Яковлева вернулась в Буэнос-Айрес, стала аргентинской поэтессой Лилей Герреро, писавшей стихи и пьесы, переведшей на испанский Пушкина, четыре тома стихов Маяковского, да и других советских поэтов и прозаиков, ей посвящена книга отца о Маяковском. Она успела в двадцатые годы вкусить советской жизни, довольно тесно общалась с Маяковским и Лилей Брик, опекавшей подружек поэта. У нее были подруги в Москве. Кажется, потом она с ними не общалась. Удивительное дело, она свободно читала по-русски, но с каждым годом говорила все хуже и труднее.



Тетя Лиля с московскими подругами. 20-е годы

Уже в Буэнос-Айресе ее переводы читались, она считалась крупнейшей переводчицей с русского, а ее пьеса в стихах о Рембо имела успех. Ее портреты писали аргентинские художники, но я приведу ее автопортрет, она и сама была неплохой рисовальщицей.



Лиля (автопортрет)

Время от времени (уже в хрущёвские времена) она приезжала в СССР, в Москву, всегда жила у нас, во дворе соседи смотрели на нее (на живую иностранку с Запада!) изо всех окон. Она привозила странную мелкую пластику, которую расставляла по полкам, необычный русский язык, интерес окружающих и визиты молодых поэтов (запомнил Вознесенского и Евтушенко), мечтавших о переводе их стихов на испанский. Мечтали об этом и молодые философы, ходившие к отцу в гости. Скажем, Александр Зиновьев принес ей свою рукопись о «Капитале» Маркса. Сестра водила отца к разным известным поэтам, я запомнил только рассказ о Пастернаке, с удивлением говорившем: «Все же *там* (т. е. за пределами его дачи в Переделкино) еще рифмуют». Потом тетка вышла из аргентинской компартии, заявив, что ее руководство лакействует перед советскими коммунистами, и больше поэтессу Лилю Герреро в СССР не пускали.



Молодой Карл читает Маяковского

Отец еще в молодости читал Маяковского и писал стихи, был таким вдохновенным поэтическим демоном. Он придумал приветствие, которым обменивался со своими друзьями: «ДЖВМ», что означало «Да живет Владимир Маяковский!» Когда в школе проходили Маяковского, то учительница литературы Евгения Львовна (фамилии не помню) просила отца вести урок по Маяковскому. Он с ней потом дружил. После армии, когда он поступал в университет, она восстановила ему утерянный аттестат.

Конечно, отец нравился женщинам. Хотя слухи о его романах, которые до меня доходили, насколько я знаю, весьма преувеличены (уже много позже отец был достаточно откровенен со мной). Еще в школе он влюбился в мою мать, она ждала его с войны, и на всю жизнь осталась его спутницей. И поэтому два слова о маме, без которой жизнь и работа отца, мне кажется, не очень понятны. Мало того, что она, молодой генетик, попала под страшную сессию ВАСХНИЛ в 1948 г., в следующем году начальство выяснило, что она замужем за евреем. Шла страшная антисемитская компания по борьбе с «безродными космополитами». Ее вызвали в дирекцию, произнесли прочувствованные слова, что она еще молодая и красивая русская женщина, вполне может найти себе другого мужа или хотя бы развестись и вернуть себе девичью русскую фамилию. Мама вспыхнула: «Как вы смеете!» Но они смели!



Мама (Татьяна Сергеевна)

И маму перевели из научных сотрудников в чернорабочие.

Отец очень много взял у своей жены, не только русского терпения и стойкости в бедах, но даже в идейном плане. Могу сказать, что мама была замечательным генетиком, создавшим новые виды растений, для садоводов многое скажет выведенная ею *земклуника*, гибрид клубники и лесной земляники, и *сморжовник*, гибрид смородины и крыжовника. Помню портрет американского селекционера Лютера Бербанка (отца культурного картофеля) на стене ее комнаты, когда правоверные биологи вешали портреты Мичурина и Лысенко. Ее дважды изгоняли с работы, несколько лет она работала и чернорабочей, и лаборанткой. Отец признавался не раз, что на идею гена истории его натолкнули мамины работы. Само название его главной книги – «Двойная спираль истории» – говорит о ее генетическом происхождении. Из последних работ: кроме книги о Маяковском, он написал нечто, по форме напоминающее «Vita Nuova» Данте, под названием «Таниада», стихи, перемежающиеся прозой, – рассказ о маме и их любви.

Вообще-то, сегодня это может показаться странным, но отец мерил себя, свою любовь, жизнь своей семьи, будущих детей соотношением с судьбой страны. Из Челябинска, где находилась часть АДД (авиация дальнего действия), в которой он служил, он писал маме:

Война эта —
судьбораздел.
Нас вихрем она разбросала.
Мы нынче
всё и везде.
Я льюсь
по отрогам Урала.
И если моя – Миасс,
твоя судьба – Лихоборка,
не сольемся,
бурля и смеясь,
не родим
озерца-ребенка.

Что б ни были мы
и где б,
Но только бы
Землю России
реки наших судеб,
иссохшую, оросили.

Это была для него точка отсчета. Этим он жил. Сохранились поразительные письма его курсантов, воевавших на передовой. Позволю себе привести отрывок из одного письма: «Здравствуйте многоуважаемый наш учитель, вернее наш „отец“ тов. Кантор К.М. Конечно, извините нас, что так Вам долго не писали письма. Ввиду того что жизнь наша была на колесах до этих пор. <...> При благоприятной погоде мы воюем, т. е. выполняем боевые задания. Спасибо вам тов. Кантор за ваши труды, приложенные в нас. <...> Сообщаем вам тов. Кантор: Журавлев и Пилипенко погибли смертью храбрых русских воинов. <...> Ваши дети Стариков П.М., Самородников».



Папа после армии

Он жил, веря в то, чем жил. Вступая во время войны в партию, верил, что так он принимает на себя всю полноту ответственности в страшное время, сохраняет свою честь. Он, рожденный в Аргентине, никогда не был внутренним эмигрантом (хотя среди его друзей было много диссидентов), никогда не стремился эмигрировать. Он думал, что верность себе можно и нужно сохранить при любых обстоятельствах. Ненавидя всяческие проявления тоталитарного мышления, он хотел сохранить идею коммунизма, которая с юности виделась ему спасением человечества. При этом сумел воспитать детей, полностью не принимавших существующий режим.

Тут я должен рассказать один сюжет: будучи марксистом и ленинцем, отец не принимал категорически Сталина. Поэтому чуть не был посажен в 1949 г. по доносу тогдашнего его друга Ивана Суханова, написавшего, что «Карл Кантор говорит против Сталина, что, мол, при Ленине такого антисемитизма быть не могло». Донос был отправлен в парторганизацию МГУ и в органы. Возникло то, что называется *дело*. О доносе знали все, сокурсники и преподаватели перестали с ним здороваться, переходили на другую сторону тротуара. Из философов у нас дома с того момента появлялись только два человека (назову их по именам, как называли родители) – Ваня Иванов и Саша Зиновьев. Как я теперь понимаю, Ваня Иванов (позже я с ним не встречался) был просто нормальный русский человек, не понимавший, что другая национальность – это грех, и державший себя без колебаний. Поэт Наум Коржавин, живший у нас дома в начале 50-х после Караганды, когда познакомился с этим человеком, как-то сказал отцу: «Вот такого же Ваню Иванова убил Нечаев». Саша Зиновьев, как вечный оппозиционер и ерник, произнес фразу, давно растиражированную его поклонниками. Он сказал: «Карл, а ты что, еврей?» На растерянное «да» ответил: «В другой раз будешь умнее!» Какой другой раз?.. Алогизм шутки не помешал дружбе. Из нефилософов, двое друзей отцовской юности, писатель Николай Евдокимов и кинорежиссер Григорий Чухрай (тогда почти неизвестные, лишь один был у них чин – фронтовики) отослали в партбюро философского факультета по письму

в поддержку отца, что они ручаются за него своей честью (немодное в то время слово). Но все же такие люди были!

Собрали общеуниверситетское партсобрание. Коллеги были беспощадны: «Волчий билет!», «Расстрелять Иуду!», «Пусть похлебают лагерную баланду!» Спас отца (о чем он всегда вспоминал с постоянной благодарностью) секретарь парткома Михаил Алексеевич Прокофьев, химик-органик, не философ. Подчеркиваю это. Думаю, что к крикам философской толпы отнесся с презрением. Потом он стал министром просвещения СССР. В начале 80-х отец увидел его по телевизору и сказал: «Как он напоминает человека, который меня, в сущности, спас». Но был так далек от партийного функционерства, что даже не уследил карьерного роста своего спасителя. А дело было так. Наслушавшись инвектив со стороны философов, Прокофьев попросил слова и начал свою речь со слов, сразу изменивших тональность происходившего: «Что случилось с нашим ТОВАРИЩЕМ (товарищем! а не гражданином, не врагом!), коммунистом Карлом Кантором? Как мы могли допустить такую беду с человеком, летчиком Авиации дальнего действия (АДД), вступившим в партию во время войны, отличником, заводилой, открывшим нам поэзию Маяковского! Это наша вина, товарищи! Наша недоработка! Поэтому предлагаю самое строгое наказание, которое может постигнуть коммуниста. Предлагаю объявить коммунисту Кантору строгий выговор с занесением в личное дело». Это было по тем временам суровое решение, почти волчий билет, но не сравнимое по своей мягкости с «лагерной баландой» и т. п. После собрания отца «профилактически», как потом мне объяснили понимающие люди, продержали несколько дней на Лубянке.



Григорий Чухрай

Вообще, друзей у него было немало, но с Евдокимовым и Чухраем он дружил всю жизнь. О них теперь немало написано, но хочу привести письмо Чухрая отцу в годы, когда он снимал «Сорок первый». Когда человек достигает известности, тем более славы, публике кажется, что всегда так было, что все его принимали. Но ходили они на острие судьбы, слишком много было желающих придушить молодой талант в зародыше.

И молодой режиссер делился с другом детства, практически в этот момент получившим волчий билет и запрет на работу по специальности.

* * *

Вот его письмо (оно большое, но больше повода его опубликовать у меня не будет, выделяю звездочками, чтобы не прерывать течения рассказа).

Но нравы тех лет оно сфотографировало. Все было почти как с партсобранием, на котором судили отца.

«Дорогой Карлушенька!
Милый, добрый мой друг!

Не сердись, что до сих пор я не написал тебе ни слова. Поверь, что реально крайняя замотанность, усталость и дурное настроение, которое всегда неприятно распространять на тех, кто тебе дорог, этому причина.

Вот уже два месяца, как я режиссер в полном смысле слова. То, о чем я так долго мечтал, осуществилось, и все как у людей. Каждое утро у подъезда гостиницы стоит колонна машин, которые доставляют 95 членов моей группы на съемку; грузится на специальные машины аппаратура, осветительные приборы, ветродуи (самолеты У-2 без крыльев) и всякие операторские премудрости, с пяти часов утра в гримерных и костюмерных идет работа. На улице стоят зеваки и ждут, когда выйдет Крючков. Потом с 9 до 6-ти я работаю на площадке, работаю сам и вся эта техника, все эти люди вкладывают свой труд, силы, нервы, знания, умение в мою картину, в нашу картину.

Счастлив ли я? Да, счастлив, наверно. Счастлив и не счастлив. Но я об этом не думаю. Я не наслаждаюсь своим положением режиссера, я только озабочен, взволнован, насторожен. Мне сейчас не до себя. Я думаю только о картине. Так, вероятно, чувствует себя молодая женщина, которая впервые должна стать матерью. Она ждала этого, хотела этого, представляла себе это как счастье, свое счастье. Но вот наступило желанное и она не думает уже о себе. В ее организме зреет живое и все ее мысли о нем. Все, что она делает, сознательно или бессознательно – для него. Ее волнует, так ли все обойдется, как у других. Ее сердце то и дело сжимается в тревоге, а вдруг родится урод, вдруг что-нибудь не так... Она отгоняет от себя эти мысли – конечно, все будет хорошо, но тут снова сжимается сердце: как будет потом?.. Как сложится его судьба. Будет ли он счастлив?.. Нет, это не поверхностная аналогия. Ее можно продолжать гораздо глубже. Известно, как женщины в это время разборчивы к пище, к материалу, из которого должно сложиться его тело. Как они раздражительны и нетерпимы. Сейчас мне понятно стало поведение Донского, Довженко, Пырьева. Я чувствую это и в себе. Все, что годится картине, берется жадно. Все, что чуждо ей, даже в малых дозах, вызывает тошноту, отвращение. Все это не понятно нормальным людям и воспринимается, как чудачество. А это закономерность.

Я не только не наслаждаюсь своим положением режиссера, я о нем не помню. У меня и без этого много забот.

Каждый день вынь да положи 30 метров материала. Минуту экранного времени. Это невероятно трудно. Иной день не даешь больше пяти метров, иной день не даешь ничего. Труд почти сотни людей пропадает даром. Потом приходится нагонять. Только сейчас я понял по-настоящему, что кино не только творчество, но и производство. На моих плечах три миллиона пятьсот тысяч народных денег. Труд многих людей в зависимости от качества моей работы либо становится ценностью, либо выбрасывается на ветер. А ведь это не только труд – 9 месяцев жизни людей. Ибо люди буквально живут картиной.

Я описал тебе свои заботы, их гораздо больше. Но если бы их было еще больше, все равно ни на какую другую я не променял бы своей судьбы. Одно только тревожит меня и огорчает ужасно. Свел меня черт с гениальным оператором Урусевским и его крошкой Белочкой в несчастливую минуту. И теперь я рассчитываюсь за это страшной ценой. Я-то поверил, что Урусевский хороший мужик, а Белла старый производственник, что они заинтересованы в этой картине и помогут мне справиться с ней. Ничего более наивного нельзя было придумать. У этой пары были свои цели, далекие от моих иллюзорных представлений. Я это почувствовал давно, но не хотел этому верить. Думать о людях так дурно казалось мне нечистоплотным. Так нам, дуракам, и надо!

Урусевский лауреат и заслуженный деятель искусств. Это талантливый художник и довольно заурядный человек. Такие могут быть и очень хорошими и очень плохими, и очень

аккуратными и очень неряшливыми, и очень честными и очень подлыми, смотря по обстоятельствам. Он, пожалуй, никогда бы не стал Урусевским, если бы не жена Белла Мироновна Фридман. Некрасивая худая женщина с красным с горбинкой носиком и незаурядными способностями дельца в широком смысле слова. Когда она встретила с Урусевским, он был женат и имел дочь. Белла увидела в нем талант и сделала на него ставку. Женщина эта обладает сумасшедшей волей. Ей абсолютно чужды такие предрассудки, как жалость, совесть, честь. Я представляю, что она, соблазнив однажды своего увальня, так схватила его за глотку, что ему некуда было податься, и бросил он свою жену и дочь. Белла стала действовать. Она внушала Урусу, что он гениален. Она внушала это всем вокруг. Как это делается, я знаю. Видел. Это высший класс! И Урусевский вышел в люди. По рассказам, было много трупов на этом пути. Карьера пышно расцветает на трупах. Как-никак удобрение. Для того чтобы сделать Уруса, Белла не останавливалась ни перед чем и его приучила к этому. Он усвоил, что его не должно интересовать ничего, кроме собственного успеха, который они делали. Если нужно было снимать, а на небе не было облачка, необходимого для доказательства гениальности Урусевского, то кадр не снимался. Пусть актеры готовы, пусть группа ждет, пусть заваливается план, пусть потеряна будет атмосфера и настроение в игре актера, все равно Белла сделает так, чтобы кадр не снимался, пока это не будет выгодно Урусу. И он никогда не виноват. Виноваты помрежи, костюмеры, осветители, гримеры, в крайнем случае, она сама. Но Урус всегда „готов снимать“, а не снимает потому, что забыт ремень главного персонажа. Не пришит вовремя воротничок. Режиссер не предупредил актера о съемке – все что угодно. Но Урус не снимает, если небо плохое.

За двадцать с лишним лет работы в кинематографе, за период малюкартинья, в который выживали лишь те, кто умел сожрать коллегу, выработались тонкие, точные приемы, не раз проверенные и испытанные на практике... Достигнуто было все. Успех, имя, слава. Но сил еще много, зубы крепкие и хочется добиться еще большего... Урусевский уже пару лет стремится к работе, где он сам будет и режиссером и оператором, а Белла – вторым режиссером.

„Сорок первый“ был избран трамплином для этой цели. Расчет точный. Сценарий интересный. Режиссер молодой и кажется порядочный малый. Он верит в высокое призвание человека, уважает честность, считает, что искренность – добродетель и т. д., т. е. полный дурак. Мы свалим его. Докажем всем, что он дерьмо. Сделаем так, что мы сняли картину и на этом основании сумеем претендовать на самостоятельную. Проигрыша нет. Изображение в ней всегда будет хорошее. Получится хорошая картина – „ее сделали мы“ (всем известно, что режиссер дерьмо). Получится плохая картина – „ничего не попишешь – режиссер дерьмо, а нас он не слушал“. Это даже удобней, чем сразу снимать самостоятельно и отвечать за все.

И вот они со свойственной им энергией, нахальством, цинизмом и жестокостью приступили к осуществлению своей цели. На первых съемках дня три-четыре я выглядел совершенно так, как они этого хотели. Делалось это гениально просто. Учитывая, что группа присматривается к новому режиссеру, устанавливаются к съемке кадры прохода отряда. Мне там делать почти нечего: идут утомленные люди. Здесь все карты в руки оператору. Все делает он и Белла. Он говорит, как расставить актеров, Белла осуществляет. Я при этом присутствую. У меня есть, правда, свое представление об этом. Я ему говорю тихо: „По-моему, надо так“. Он – громко, чтобы все слышали: „Нет! Это не интересно! Схема. Нет мысли“. (Позднее я узнал, что „схема“ и „нет мысли“ говорится, когда нет более веских доводов для опровержения чего-либо. Но тогда я думал, что в самом деле мыслю схематично или совсем не мыслю.) Едва я обращаюсь к актеру, начинается крик: „Григорий Наумович! Уходит свет!..“ Я верю и замолкаю... Но съемка не начинается. Урус возится потом еще час и свет не уходит... Я требую от актера какого-то действия, какой-то краски (в другом куске), для того чтобы актер исполнил это, нужна пристрелка, как в артиллерии. Сперва у актера „перелет“, потом „недолет“, потом уже „попадание“. Если актер пережал, я должен сказать ему: „Пожалуйста, так же, но

чуть мягче“. И он делает. НО именно этого мне не дают сказать. Едва происходит „перелет“, начинается крик на площадке. Урусевский кричит: „Ну, что это!.. "Перелет"“. Белла кричит: „Перелет“. И мне ничего не остается сделать, как повторить это слово за ними. Снят дубль. Я должен дать команду „стой“, потом вдохнуть воздух и сказать „хорошо“ или „плохо“. Но именно в то время, когда я делаю вдох, Белла кричит „хорошо“. Урус кричит „прекрасно“, и мне ничего не остается делать, как либо повторить, и тогда я мальчик при Урусевских, что и требовалось доказать, либо сказать „нет, не хорошо“, и тогда я болван (потому что в самом деле хорошо), что и требовалось доказать. Есть третий способ сказать: „Не мешайте мне работать. Я сам знаю, хорошо это или не хорошо“. Но тогда мне с улыбкой ответят, что это такая мелочь, о которой говорить не стоит, скажут, что я напрасно боюсь, что меня не примут за режиссера или еще что-либо более хлесткое. И тогда я в полном дерьме.

Я когда-нибудь расскажу тебе подробно, как это скрупулезно делалось. Но им удавалось все! Уже и группа, и даже сам я начал верить в то, что я ничтожество. Я почувствовал на своем горле пальцы Уруса! (Белла держала меня за руки.) При этом они даже не улыбались ласково, как раньше, а нагло смотрели мне в глаза и всем своим видом говорили: „Ну вот, мальчик, все кончено... Ты только не вздумай сопротивляться. Дышишь и дыши – не мешай нам делать свое дело. Пискнешь – потеряешь все. Мы уничтожим тебя!“ И я понимал, что пищать бесполезно. Я готов был бороться, но выжидал удобного момента, понимая, что один на один (в смысле два) мне с ними не справиться. Я попробовал подействовать на благородные чувства. Я сказал Урусу: „Вы знаете, Сергей Павлович, я вчера видел „Овод“ и очень расстроился, там нет режиссера, оператор задушил его, и картинка вышла дрянь. Все красиво, но не в ту сторону. Зритель не принимает ее. Не волнуется. А ведь какая книга!“ Он нагло улыбнулся и ответил: „К вашему сведению „Овод“ сделал оператор. Режиссера там не существовало. Но картина получилась хорошая. Мне она нравится и Белле тоже“. Я понял, что мне ничего не остается, как дышать, пока мне еще это позволяют делать.

Мне стоило большого труда сдержаться, не перейти в наступление раньше времени. Они приняли мою пассивность за смирение и обнаглели настолько, что стали действовать в открытую, как жулики после амнистии. Они открыли свои карты. Вот тогда-то я потребовал собрать партгруппу и так тряхонул эту пару, что они в панике разбежались. Я доказательно, оперируя фактами, показал, что это жулики и прохвосты, и партгруппа согласилась с этим. Но я пошел еще дальше. Я сказал, что считаю нечестным скрывать от партии, что три с половиной миллиона народных денег и дело, которое нам поручено, находится под угрозой. Каждый из нас может быть сделает эту картину, но вместе мы ее погубим, потому что я не уступлю ему своих позиций, он не удушит меня. А позиции разные. Они взаимно уничтожают друг друга. Я потребовал, чтобы кто-нибудь один из нас (в смысле два) покинул картину и немедленно. Урусевский испугался и стал уверять собрание, что будет во всем подчиняться мне, что больше не повторится того, что было. Я заявил, что отказываюсь играть с шулерами, я отдаю должное их ловкости, но не готовил себя к этому. Тогда большинство членов партии со свойственной им решительностью и принципиальностью стали нас мирить. Увы, ничего не поделаешь, идея мирного сосуществования овладела массами! Я упирался. Это вызвало удивление и тревогу. Этим собрание и кончилось. Урусы развили бурную деятельность. Все средства связи пришли в движение, авиация, телефон (которого здесь не добьешься, если заказ не идет из Москвы), телеграф, и на второй день Урус получил разрешение Пырьева вылететь в Москву для личного доклада. Мое дело стало довольно сильно пахнуть керосином. Стали приходиться доброжелатели, которые доказывали, что надо идти на все, чтобы не отпустить Уруса в

Москву, иначе мне гроб. Пырьев человек вспыльчивый и своенравный, Урус наговорит ему сорок бочек. Я в этом деле выгляжу как не сработавшийся... Одним словом, беги, бросайся в ноги. Я сказал: „Нет, пусть летит!“ И тогда Урус через директора группы запросил согласия на переговоры со мной. Целый день он и Белла бегали к директору, от директора ко

мне (съемки не было). Я не соглашался. В 11 вечера я принял противную сторону у себя в номере. Переговоры происходили в присутствии „нейтрального“ директора (который был на моей стороне, но до смерти перепугался моей крутости). Урусевский заявил, что просит извинения, что хочет работать и что признает мою власть режиссера. Если я уничтожу протокол собрания и признаю, что погорячился, обвиняя его и Беллу в узурпаторстве моих режиссерских функций (как он выразился „в желании отобрать у меня постановку“). Он согласен не вылетать в Москву. Я сказал, что не вижу смысла в уничтожении протокола собрания. Если он будет работать честно, то протокол потеряет силу сам собой. Он настаивал на том, чтобы я взял обратно свое обвинение. Я рассердился и спросил: „Но я имел основание так думать?!“ Он испугался моего тона и ответил: „Да“. Я сказал: „Вот и все. Хотите работать – оставайтесь и не ставьте никаких условий, кроме условий взаимного уважения творческих замыслов друг друга“. Когда лауреат и заслуженный скрылся за дверью, директор бросился меня целовать и поздравлял с победой.

– Ну ты силен!.. Я не думал!

Это действительно была победа. Но я не радовался вместе с Лукиным. Я знаю, что впереди еще очень тяжелые бои. Они не оставят мечты схватить меня за горло. Они никогда не простят мне моей победы и будут искать случая расчитаться.

Что бы я не отдал, чтобы снимать (насколько это в моих силах), думая только о картине и не заботясь о том, чтобы не сделать неловкого движения и не открыть своим друзьям, своим союзникам, горла. Но победа одержана и приходится ее расхлебывать.

Директор слетал в Москву и доложил обо всем Ивану. Иван поддержал меня. Он прислал теплое письмо о партии первого нашего материала. Хвалил материал больше, мне кажется, чем он того стоит, чтобы поддержать меня. Лукин (директор) говорит, что узнав обо всем, он перечеркнул аттестацию Беллы на звание второго режиссера, сказав „я ее породил, я ее и убью“. Про меня на просмотре материала он сказал: „Чухрай режиссер и будет режиссером, а Урусевскому и Белле снимать все равно не дам, несмотря ни на какие фокусы“.

Сейчас в Москве Леша Темерин. Он повез новую партию материала. Очень волнуюсь. После каждой съемки я прихожу со странным чувством невозвратимой потери, непоправимой ошибки. Кадр снят и уже ничего в нем не исправишь. А сколько бы хотелось поправить! Сейчас уже снята треть картины. Если бы я мог все это переснять! Группа довольна – выполнили план. Директор потирает руки. А я с ужасом смотрю на зачеркнутый кадр. Еще один кадр и уже ничего в нем не исправишь.

Я снял уже „Три всадника“, „Приход Красных в аул“, „Белые в ауле“, „Сцена между поручиком и Марюткой“, „Белые узнают о Говорухе“, „Погоню за отрядом“, „Смерть Чупилко“, „Смерть Уманкула“, „Казах без верблюда помирать пошел“ и др.

Очень трогательно и хорошо относятся ко мне актеры. В особенности Коля Крючков. Он оказался прекрасной души человеком, хорошим товарищем и работягой. Популярность его в народе поразительная. Любят его и, по-моему, не зря. Очень хорошим артистом оказался Стриженов. Он меня очень радует.

Вот так протекает мое житье-бытье. Да что „так“!? Я ничего и не написал тебе из того, что хотелось. А уже пора кончать. Нужно хоть немного отдохнуть, сейчас двенадцать, и мне еще работать, а в пять вставать.

Извини за длинное и бестолковое письмо. Может быть скоро выдаться еще дождик и мы раньше кончим работу как сегодня, тогда я тебе напишу обо всем главном, о чем так и не написал.

До свидания, мой хороший. Если выдаться время, напиши о своих делах, о своем здоровье, о здоровье мамы и Тани и Вовы. Я очень скучаю. И так мне хочется сейчас посидеть в вашем давно уже ставшем родным для меня доме, увидеть всех вас, поговорить, послушать музыку... А тут каракум-пески, обалдеешь с тоски...

Я бы позвонил тебе, да отсюда почти невозможно получить разговор. Со студией связываемся мы телеграфно – они по телефону. С Москвы позвонить легче.

Передай мой поцелуй маме и Вовуле и самый горячий привет Тане. Я ценю тебя и желаю самых больших успехов и счастья. Твое детище кажется родится в добрый час. Я всей душой желаю тебе этого.

Будь здоров, родной!

Твой Гриша Кисловодск 28.02.56 г.»

Хочу к этому добавить, что сцену между Марюткой и поручиком (для фильма) Чухрай написал, сидя у нас на кухне и записывая, как мама бранила отца, что он не помогает ей чистить рыбу

* * *

Отца после партсобраний не посадили и не выгнали, но несмотря на красный диплом, в аспирантуру отец не попал, в 1952 г. ему дали «свободное распределение», и он с трудом устроился вести семинарские занятия по истории партии в Рыбном институте. В 1953–1957 гг. преподавал истмат в Гидромелиоративном институте. В 1956 г. Чухрай помог ему получить курс лекций по эстетике на курсах для кинорежиссеров, где его неожиданно услышал Михаил Филиппович Ладур. И началась новая жизнь.

С 1957 г. – заместитель главного редактора журнала «Декоративное искусство СССР», в сущности это была должность «умного еврея». Взял его на эту работу главный редактор журнала и главный художник Москвы Михаил Филиппович Ладур, который, приглашая отца на работу, сказал: «Как цыган чует лошадь, так я чувствую людей». В 1964 г. его вытащил на защиту кандидатской А.И. Ракитов в Плехановку, где отец и защитился по теме «Теоретические проблемы технической эстетики». По сути дела он стал одним из тех, кто пытался возродить отечественную традицию промышленного искусства, введя термин технической эстетики, понятия дизайна и маркетинга, которые тогда казались пришедшими совсем из другого мира. В эту сторону ему удалось повернуть и «Декоративное искусство». Отец проработал в журнале более пятнадцати лет и был снят с должности (уже главного редактора) М.А. Сусловым за публикацию статьи И. Оренбурга о Марке Шагале (очень советский сюжет). Рассказывали, что Суслов вызвал зав. отделом искусства ЦК КПСС и бросил на стол журнал со статьей, спросив: «Кто ему позволил?» На что получил ответ: «Уже уволен». И отца уволили «задним числом».

Куда бы я ни приходил, все знали меня как сына Карла Кантора. Наум Коржавин (для друзей Эмка, Эмка Мандель) включил меня в надпись на своей первой книге «Годы» 1963 г.: «Тане, Карлу, Иде Исааковне и Вове без лишних слов с обычным дружеским чувством. Эмма. 5.IX.63 г.». Это был некий знак приобщенности к кругу интеллектуалов. Надо сказать, что и в редакцию журнала «Вопросы философии» я попал благодаря протекции Мераба Мамардашвили, с которым отец не то чтобы дружил, но находился во взаимно уважительных отношениях. Я ходил на лекции Мераба, после лекций он приглашал меня и нескольких знакомых в «Националь» на чашку кофе. И там за чашкой кофе он из случайного разговора выяснил, что я уже несколько месяцев без работы. И Мераб отправил меня в журнал, сказав: «У нас как раз свободное место. А сына Карла Фролов должен взять». Так оно и вышло. Причем Фролов проявил немалое мужество, поскольку в этот момент в одной из центральных газет была статья секретаря по идеологии МГК КПСС В. Ягодкина против отца.

Быть сыном было хорошо, очень долго я почти без колебаний и критики воспринимал все слова отца. Годом к тридцати начались попытки самостоятельного мышления. Я даже написал повесть «Я другой». В те годы мне иногда говорили: «Ты выступаешь против идей отца». Самое поразительное, что он это понимал, но еще более поразительно, что, читая мои тексты,

давал советы как бы изнутри этих текстов, показывая, как можно лучше развернуть ту или иную аргументацию. Ему очень нравилась самостоятельность, не было никакой обиды. Это сохранило нашу дружбу.

Отца любили друзья и родственники. Алексей Коробицын, знаменитый разведчик, писатель, его сводный брат, надписал свою первую книгу «Жизнь в рассрочку»: «Брату Карлу, самому младшему и самому умному». Таких надписей было немало. Скажем, Владимир Тасалов надписал свою книгу «Прометей или Орфей» так: «Карлу! Дарю книгу с восторгом, напоминающим восторг человека, радостно сдающегося в плен!» Кстати, восторг был взаимным. Восторг отца по отношению к талантливым людям и их произведениям, делам был основой его отношения к миру. Как-то он дал мне книгу Эриха Соловьёва о немецком экзистенциализме и сказал, что если я хочу что-то понимать в философии, то должен прочитать эту книгу. Все имена думающих советских философов я узнавал по рассказам, где личное знакомство и приятельство играло немалую роль, многие бывали у нас дома. Помню, как у нас дома Наум Коржавин читал стихи. Причем такого тогда не слышал никто. 10 марта 1953 г. он читал свой стих «На смерть Сталина».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.